

На чужой звезде.  
Прочие части неизвестно где.

Константин Федин  
Красив и бледен.  
Пишет всерьез  
Задом наперед  
Целуется взасос  
И баритоном поет.

Зоценко Михаил  
Всех дам покорил —  
Скажет слово сказом,  
И готово разом.

Любит радио  
Пишет в «Ленинграде» о  
Разных предметах  
Полонская Елизавета.

Вениамин Каверин  
Был строг и неумерен.  
Вне себя от гнева  
Так и гнул налево.  
Бил быт,  
Был бит, —  
А теперь Вениамин  
Образцовый семьянин.

Вся семья Серапионова  
Нынче служит у Ионова,  
И от малого до старого  
Уважает Г. Сафарова.



Светлана Забарова

### *Кровный интерес*

**Светлана Забарова.** Прозаик. Русский писатель, член Союза Писателей Санкт-Петербурга. Живет в г. Санкт-Петербурге. Родилась в Казахстане, в городе Кентау, одном из центров горнорудной промышленности СССР. По окончании средней школы приехала в г. Ленинград. Училась в Музыкальном училище им. М. П. Мусоргского и в ГИПИСР. В 80-е годы была членом группы «Спасения памятников истории и культуры». Член редакционного совета альманаха «Пятый угол и его обитатели» (2012–2014) и творческого совета журнала «Северо-Муйские Огни» (Бурятия). Публиковалась в ряде изданий России и ближнего зарубежья. Автор изданной книги прозы. За серию очерков имеет благодарности от ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище», музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», общественного объединения «Мемориальная зона», г. Астана, Казахстан.

*Посвящается группе Спасения  
памятников истории и культуры*

Когда я езжу по городу в привычных рутинных направлениях, мне порой кажется, что те люди, с которыми я была связана в конце восьмидесятых «англетеровским», или «спасенческим» движением — давно уже умерли, что их смыло временем, они исчезли, растворились без осадка в новой эпохе...

Но вот был день панихиды по Даниилу Гранину. Я вышла на Чернышевской, и вдруг... они.

Те же лица, те же люди... и понимаю, что они все идут туда же куда и я.

Никуда они не делись, не пропали, как жили, так и живут... хранят молча культурный код города. Интересно было вот это мгновенное узнавание друг друга по каким-то невидимым перекрестным трассам через головы идущих людей; безошибочное определение «свой-свой»: они спрашивали о чем-то друг друга, уточняли маршрут троллейбуса, место и время.

Ко мне подошла старушка лет под сто. Пока ехали, выяснилось, что она активистка: борется за сохранение и возрождение квартиры-музея

М. Ю. Лермонтова, участвует в акциях общественности, бьется с муниципалами. Такая вот старушка, имярек, безымянная на тот момент для меня...

Участие в том, что называлось «сохранение памятников истории и культуры», навсегда изменило мой взгляд на Город. Я вижу, помечаю все рубцы, раны, уродства, нанесенные на его лик новыми временами... Я вижу изменение его лица, вижу небрежение к его фасадам, чуть ступи от центра — и ты попадаешь в какой-то архитектурный полураспад...

Как-то иду по переулку Бойцова, и — что за черт? Все фасады домов залеплены бумажками, надписи гласят: опасно для жизни, не приближайтесь. Оказывается, это валится штукатурка кусками по всем фасадам домов, она просто себе валится, и чтобы никого не забило насмерть, не ремонтом, а бумажками отбоярились...

Пришлось этим летом совершить пешее путешествие по Васильевскому — и обомлела: как взломана, будто фомкой разбойника, привычная историческая панорама, как она порушена. Как, распахав дома исторического модерна, между ними влезли пузатые вальжанные, блистая стеклопластиком и металлом, громоздкие сооружения — это власть денег, Капитал диктует Городу свою волю.

Вот уж чем бы нам пример с Европы брать, так это умением хранить свои черепки и не гнушаться чужими. Благодаря этой их рачительной бережливости к архитектурному и культурному наследию мы и может теперь наслаждаться обликом средневековой Вероны или Кастильи... Меня всегда изумляло именно наше внутреннее варварство по отношению к самим себе, — я не могу найти этому явлению объяснения.

Понятно хоть как-то, что готы покружили Рим, что халиф Осман приговорил Александрийскую библиотеку, что Чингиз-хан раскатал древние города Хорезма и Китая, а Тамерлан — Алеппо и Анкару... Что Шумеры сожрал Вавилон, а Вавилон — Ассирия: молодые пассионарные амбициозные цивилизации поедают ослабнувшие, утратившие волю к жизни, и выплевывают обглоданный остов... да просто элементарный грабеж отдельных завоевателей; так современные конкистадоры доразрушили Пальмиру.

Но зачем мы сами крушим все вокруг себя, каждый раз отрицая то, что создалось предыдущими поколениями, отрезая себя от не только дальних, но и ближних предков, ставим зажим на пуповине традиции, тем самым лишая себя же самих питательной культурной среды, — этого я никак не могу взять в толк.

Философ Александр Зиновьев в своей книге «Русская трагедия» пишет, что ненавидит панораму современной Москвы: от ее вида появляется сильное искушение покончить со всей этой мерзостью самым простым

и доступным способом — выброситься из окна... «Но что-то удерживает меня от такого последнего шага в Вечное Ничто. Значит, я еще не испил до дна чашу страдания, положенную мне по праву русского человека».

Русская катастрофа и сто лет назад, русская катастрофа и опять, все та же катастрофа с теми же разрушительными последствиями... В связи с этим мне кажется, что тот вулканический взрыв общественной энергии в конце восьмидесятых в Ленинграде (Петербурге) по сохранению своего культурного исторического наследия был метафизически определен одним: город и горожане объединились в страстном отчаянном желании выжить и сохраниться в уже накатывавшей волнами катастрофе.

Более того, он, этот взрыв, и мог прогреметь именно в Петербурге. Метафизика города, его срастание с жителями, их общий кровоток и взаимная глубокая любовь другу к другу, совместное проживание всех сотрясений страны это предопределили.

Любой дядечка у помойки может рассказать занятую историю о каком-то фонаре, или проходном дворе, или чердаке, он знает свой город с изнанки со всем его прошлым, его героями и его персонажами, так они друг от друга неотделимы.

Сонечка Мармеладова — столь же реальная героиня города, как и «Чижик-пыжик», и все коты Сергея Лебедева, — и они все столь же мистичны, как сам Сергей Лебедев.

Почему я вдруг, и вроде бы совершенно спонтанно, вернулась к этой теме? Видимо, потому, что во мне все эти годы тихонько живет «человек эпохи Англестер».

То явление, культурологический феномен, уникально не только мощным массовым выбросом общественной энергии, но и крайней степенью бескорыстного и даже целомудренного служения высоким идеалам, романтизму.

Оказалось, что общество может объединяться не только в социальном протесте, не только в революционном порыве, но и на основе любви: к городу, к памятникам истории, к своему прошлому и к извечной жажде справедливости не для себя лично, а для общества.

Люди, которые никогда бы не должны соприкоснуться друг с другом, даже враждебные по статусу или убеждениям, отрицающие друг друга — объединились.

Объединились интеллигенты-филологи — и высокомерный космополитичный, презирающий «совковую бытовуху» «Сайгон», комсомольские активисты — и бунтарский яростный рок-клуб, пацифисты-хиппи — и курсанты военных училищ, брезгливые эстеты-интеллектуалы — и городская подворотня...

Но опять вернусь к прогулкам по городу.

Захотелось ли мне, подобно Зиновьеву, выброситься из окна? Мне близко его настроение. И я пью из этой чаши страдания, *положенной по праву русского человека*. Да и не я одна, уж точно. Но мое страдание еще смешивается с внутренним яростным непринятием этого. И ярость моя слишком живого свойства.

Мне захотелось вынуть свои воспоминания, отряхнуть их от тлена разочарований, безнадежности, и вопреки собственному протесту (а во мне есть этот подленький протест: кому теперь это нужно, все проиграно, бесполезно), — написать даже через собственное «не могу».

А также для того, чтобы найти точку отсчета, чтобы рассказать о людях, приблизиться к их лицам, через время понять что-то сокровенное и набраться сил, мужества, отчаянности у них, тех прежних и тех нынешних единичных, но живущих...

Владимирская площадь.

Как только выходишь из метро, взгляд упирается не во Владимирскую церковь, — а как было бы хорошо, чтобы упирался именно в нее, или в дом Дельвига, — но в огромного слоноватого мрачного серого монстра: в этом сооружении, увенчанном странной полукруглой колоннадой, с грубым свинцовым фасадом и тускло отливающей латунным блеском вывеской известного банка, располагается все, что касается денег и потребления.

Это здание теперь стало доминантой Владимирской площади, своей громоздкой неуклюжей тушей проломив стройные линии ее архитектурного рисунка. Тихая ее мелодия умолкла. Дом Дельвига кажется уже неуместным то ли приживалом... то ли, знаете ли, иностранцем.

Площадь теперь метафизически нам сообщает: место поэзии в современном мире располагается в подножии Храма Золотому Тельцу. Ибо Храм этот возвышается на добрых четыре этажа над домом поэта, да и над всеми зданиями окрест, и над куполом православной церкви.

Храмовники же, воздвигнувшие его, «не думают» о вкусе, ибо им плевать на вкус, они могут воткнуть на дурацкую колонну не менее дурацкий пошлый вазон, и эта дешевая помпезность и есть олицетворение их самих и их Храмов. А традиционной культуре, в создании и развитии которой принимал участие и Антон Дельвиг, — указано ее место... и пусть радуется, что хоть как-то уцелела.

А ведь и верно. Могла и не уцелеть.

*«...Вспоминаю, как в пасмурный октябрьский день накануне акции мы вышли с Беляком на рекогносцировку на Владимирский. Хмурые прохожие, облезлый полуживой Дом Дельвига, глядящий на площадь пустыми глазами окон... По площади широкими шагами в развевающемся кожаном*

*пальто с длинным шарфом летает Николай Беляк, не видя ни людей, ни транспорта, хищно вглядывается в крыши напротив, бросает взгляд на колокольню, на балкон пустого Дома... Зреет замысел. Беляк ходил по площади по-хозяйски, как распорядитель безусловной высшей воли, делегированной ему, Беляку, по праву причастности к сущностной, сакральной, а не рутинной ипостаси Города. ... Вот это ощущение несомненного права, соединенного с высшей ответственностью, посетило тогда и меня. До того мои лирические взаимоотношения с Петербургом оставались моим интимным делом. С некоторых пор тонкое, личное вдруг сделалось публичным, и потребовало совершенно другой меры ответственности и умения защищать и не терять эту эфемерность...», — вспоминает события октября 1986 года один из наиболее преданных Городу и талантливых людей эпохи Англестер Сергей Васильев, Васька. В сознании и памяти людей укрепившись как человек с аккордеоном, он внешне совершенно неотделим от Владимирской площади, от сущности этого пространства, названного потом «зоной Достоевского», и сам даже внешне похож на писателя.*

Кажется, не сойти мне сегодня с этого места. И опять в современность.

Вообще с «зоной Достоевского» творится что-то невообразимое, сродни иноземному нашествию.

Сенная Площадь, опять же с сохраненной гауптвахтой, тем не менее обросла со всех сторон такими же банковско-торговыми мегамонстрами.

Прошлой осенью на одном из культурных мероприятий самозаписавшийся в писатели ультрамодный психолог доктор Курпатов-младший сообщил, что он выкупил ряд домов по улице Достоевского для создания там некоего досугово-просветительского центра с современными технологиями. Под названием «Интеллектуальный кластер "Игры разума"».

Попросту: дурение голов простых граждан с целью освобождения их от лишних ден. знаков. И непременно с этой целью надо было впересться в зону Достоевского. А может быть, именно и было такое стремление? Чтобы осуществить разрушение на сакральном уровне: изменить *настройку* места, переключить на другие волны. Чтобы горожанин размышлял не о смыслах, заложенных великим русским писателем, а путался в хитросплетениях нейро-лингвистических изысков — понятно, не бесплатных. На место русского космического психологизма Достоевского пришел психологизм другого направления — рациональный, западнический, курпатовский.

Так и хочется воскликнуть: «Федор Михайлович, караул: бесы атакуют!»

Теперь вот свежее. Архитектор Герасимов: «Музею Достоевского тесно в старых стенах, там даже стакан воды выпить негде». И томимый жаждой архитектор разработал проект пятиэтажного современного — а как

же! — комплекса в исторической панораме. И, как пишут авторы статьи «Опрокинуть стакан с Достоевским»: «Содержимое "стакана" с прямой музейной деятельностью имеет мало общего: фонды, экспозиции, кабинеты сотрудников остаются в историческом доме 5/2 по Кузнечному переулку. Пять этажей (плюс подземный) нового корпуса отводятся под театральную-концертную площадку, магазин, кафе, лекционно-библиотечное пространство с громадным внутренним балконом, да небольшой выставочный зал; плюс входная зона с панорамным лифтом; подъемник для маломобильных граждан. Но попасть таким путем к Федору Михайловичу они не смогут — переходы, врубаемые в стену исторического дома, не решают проблемы доступа инвалидов в мемориальную квартиру».

Да еще предлагают самим же горожанам на этот проект раскошелиться...

И опять воскликну: «Федор Михайлович, караул! Уже не только в "зону", топонимический ареал ваших персонажей, не только в прихожую вашего дома, но и в саму вашу квартиру вломились, не спрося разрешения; как тут не вспомнить: "не дадите ли воды напиться, а то переночевать негде"!».

«...У меня "кровный интерес": я появился на свет в парадной как раз того дома, который стоял на месте сквера, который собираются застроить; того дома, который разобрали в связи с его ветхостью. Так что дух сего места говорит через меня, и мне НЕ ПРАВИТСЯ тот монстр, которого навязывает городу Герасимов».

Эти слова принадлежат Николаю Беляку, тому самому, который пасмурным и ветреным днем 16 октября готовился к проведению акции по спасению Дома Дельвига от сноса.

Вот как это описывает С. Васильев:

«...Ночью мы развешивали по окрестным заборам и подворотням са-модельные объявления с призывом прийти на площадь защитить Дом Дельвига. Холодным солнечным октябрьским утром 19 октября шли на Владимирскую, не зная, где мы окажемся в случае неудачи: в отделении милиции или в организации посерьезней. Но обратного пути не было. И когда с колокольни Владимирской церкви, в которой прочно засел "Вагонмаш", прозвучал сигнал трубача, подхваченный трубачами на крышах других домов площади, когда в пустых глазницах обреченного на снос дома Дельвига зажглись свечи, когда на балкон с факелом в дрожащей от волнения руке вышел академик Института русской литературы Александр Панченко, я замирал от счастья растворения в этом невероятном объединяющем событии. Но вот прозвучали стихи, музыка, рассказы экскурсоводов, и был дан микрофон горожанам: один за другим люди поднимались на грузовик и впервые в своей жизни перед всей площадью говорили в защиту уничтожаемого Города: о любимых домах, за которые им так больно

и так беспомощно. И просили помощи у нас. Вот это было ошарашивающим, к такому повороту мы не были готовы точно...»

Но именно с этого дня и началось это массовое движение, разросшееся к англетеровским событиям до сотен тысяч участников, пролившихся на улицы и площади города: Город тогда встал на свою защиту.

Вспоминаю один эпизод из «Антарктической повести» В. Санина, как на станции «Восток» оказался неисправен движок из-за трещины в аккумуляторе, и как потом пытались завести вручную старый промороженный движок, как они крутили и крутили рукоятку.

Вот эти все люди — Николай Беляк, Китаец, Паша Никонов, Сергей Васильев, Таня Лиханова, Коля Журавский — изо дня в день, не строя коммерческих планов, из одного только кровного интереса и крутили рукоятку, чтобы завести движок народной воли. Пока он не дал искру: пока не завелись тысячи сердец в унисон.

Но что важно — откуда они вообще взялись, эти люди, и как объединились, и почему вообще все это возникло. И как начать, с кого? Кто здесь главный, и какое событие, или цепь случайностей, или выстраданная закономерность, и где исток — в чем, в ком, и в каких явлениях, через кого транслировались идеи, как они вообще зарождались?

Только по прошествии стольких лет я могу ответить на вопрос о том, кто стоял за всем этим.

Этот человек — *Георгий Владимирович Пионтек*.

Не знаю, многим ли горожанам знакомо это имя. Остается только изумляться тому обстоятельству, что до сих пор этого имени нет в списке почетных граждан города. А ведь именно Георгий Пионтек разработал и воплотил в жизнь проект дома-музея Ф. М. Достоевского. Его энергии, его страстности, преданности делу, бескорыстия, отчаянной даже и в одиночку борьбе мы обязаны тем, что дом-музей есть, жив и работает.

Еще в семидесятые годы Пионтек, тогда сотрудник Леноблпроекта и член Союза архитекторов, во время попытки сноса исторической части дома загородил его собой, встал перед экскаватором, остановил его зловещее движение на пути разрушения и спас фактически и буквально исторические интерьеры, подлинники ступени и стены дома.

Вы только представьте себе: не на амбразуру, как Матросов, а под экскаватор, не чтобы спасти жизнь людей, а чтобы спасти жизнь дома. «Груды кирпичей» — для того же экскаваторщика; но есть же в этом и что-то тождественное. Он не спас конкретного человека, но он спас национальное народное достояние, нашу память, наше самоуважение и самочувствие.

Разразившийся скандал, конечно, не мог остаться без последствий, и Пионтек поплатился: его вышвырнули из Союза архитекторов.

Кое-кто считал его: помягче — чудачком, покрепче — сумасшедшим; для конъюнктурщиков из чиновничьего ряда он был человеком, не умеющим жить в ладу с эпохой, для обывателя — юродивым. Для нас, думаю, он был Патриархом Эко-культуры, а вообще для современников — неузнанным, возможно, последним Апостолом русского космизма. Для меня, например, неоспоримо, что Пионтек так же принадлежит русскому космизму, как его основоположник, русский религиозный мыслитель и философ Н. Ф. Федоров, академик В. И. Вернадский, академик, биофизик и философ А. Л. Чижевский и другие. Как, в известной степени, и калужский затворник, или, как его, называют космический пророк К. Э. Циолковский.

Пионтек — это действительно Циолковский в культурологии и этнологии: равный ему дерзновенностью мечты, вселенским размахом мысли, и так же драматически обогнавший время и отвергнутый современностью.

Проект национального парка-музея под открытым небом «Человек и среда», в котором была бы представлена этнокультура и ее составляющие, от религий до ремесел, от предметов быта до научных достижений всех народов, этногрупп, населяющих территории СССР, и проистекает из всей предшествовавшей работы мысли русских космистов.

Космисты искали такую организацию социума и психофизику человека и среды, в которой бы они гармонизировали друг друга, не противопоставляя, а сотрудничая, не воюя и уничтожая, а сберегая и приумножая в бережливом созидании. Именно на этом фундаменте и выстроен был эко-культурный проект Пионтека.

Пионтек стремился к «синтезу различных национальных культур, которые мыслил как реализацию культур единого планетарного этнобиогенеза человечества».

Это фактически повторяет идеи Вернадского, который считал, что такой синтез в конечном итоге уничтожит фашизм. И он противоположен глобализму, стремящемуся к усреднению человечества по одноподобному образцу.

Проще: разница между идеей русского космизма и глобализмом, в который стройными рядами устремились народы и цивилизации, такая же, как между восточным ковром и дерюгой. Ибо ковер прекрасен слиянием разноцветных нитей в одном радующем сердце и глаз узоре, тогда как дерюга и есть дерюга, нет ничего скучнее.

А еще космизм — этот симфонический оркестр, транслирующий музыку небесных сфер под управлением Вселенной, а глобализм — это вечное пугало человечества: Ганс, играющий на дудочке и уводящий всех человеческих детенышей на погибель...

Георгий Пионтек — один из оркестрантов.

Когда я увидела его впервые, сначала показалось, что человек вывалился случайно из XIX века. Лицо его носило черты той монументальной вылепленности, которую только и встретишь в университетских коридорах на портретах выдающихся деятелей. Роскошный седой гребень волос над выпуклым и большим лбом казался овеванным космическим ветром. Борода, напоминая взбитые в пену буруны волн, ниспадала на грудь.

Но глаза! В них было столько доброты и на тот момент — счастья. Он смотрел на Китайца, Ваську, на Бомжира, на всех нас — со счастливым блеском в глазах. Думается, это было счастье от того, что вокруг появилось столько молодых лиц, что вдруг, откуда ни возьмись — целый выводок юных соратников, единомышленников, активных, бесстрашных, горлопанистых и талантливых.

Для него это было очень ценно, после того, как он столько лет бился в защиту города почти в одиночку, а порой — и в крошечном одиночестве.

К личности такого масштаба вообще трудно подобраться. Да еще с таким довольно скудным багажом знаний и умений. Перед тобой будто рассыпаны в беспорядке отдельные пазлы, и как из них составить цельное полотно — загадка. Такой же Космос!

Он был тщателен, блистал эрудицией, отточенной и острой, как стилет, фразой, его знания города ошеломляли:

*«...Пионтек, как Дон Кихот, бросался на защиту наследия, будь то реконструируемый дворец, застраиваемый парк, утилизированная старинная решетка или дверь. Он водил нас по старым домам, по кирпичной пыли определяя дату постройки, по особенностям кладки — строительную артель, спасал от гибели крепкие старинные двери, вытаскивая их на спине с помойки, перерисовывал полуразрушенные витражи в надежде на будущее восстановление — все это, разумеется, абсолютно бескорыстно и с полной самоотдачей... (...) Жил буквально на разрыв, до конца жизни принимая буквально каждую встреченную несправедливость как свой невыполненный долг».* (Из воспоминаний С. Васильева. — С. 3.)

И при этом в других вопросах, в том, что не касалось дела, он мог быть небрежен, равнодушен. То, что касается быта, одежды, что нас всех так волнует — его ни капли не волновало.

Георгий Владимирович Пионтек умер в 2005 году.

Вот выдержка из статьи С. Васильева опубликованной на сайте «Градо-защитный Петербург» к юбилею выдающегося гражданина своего Города и Отечества.

*«...Сегодня трудно так любить и знать свою страну, ее прошлое, ее многонациональную культуру, как любил и знал ее Пионтек. Проживший последние годы жизни в качестве полубомжа, городского чудачка, не раз*

битого и не раз преданного, он сумел организовать на филфаке СПбГУ семинар, посвященный национальным культурам, ему удавалось найти общий язык с оголтелыми коммунистами и яркими либералами, доказательно спорить со скинхедами, он уже в 2000-х годах сумел органично и сущностно разговаривать и обосновать свою позицию в споре с политиком и торговцем-«челноком», с успешным бизнесменом и опустившимся пьяницей. Не находил он только общего языка с корыстным, бесчувственным, формальным сознанием, — именно на этом языке чаще всего устраиваются дела в нашем нынешнем мире».

Воспоминания о Пионтеке Саяны Монгуш, журналистки, правозащитницы из Тувы. Саяна стала его верным товарищем во всех начинаниях: парк-музей «Человек и Среда», борьба с фашизацией и национализмом, забота о гибнущих памятниках.

«...Я помню, что писала какую-то патетическую чушь про Пионтека (про то, как нам придется ходить к кладбищенской оградке и просить за-поздало прощения, — а сейчас, когда он зимует под небом на набережной адмирала Макарова, мало у кого есть желание вникнуть, почему он так цепляется за это пепелище), не предполагая, как на самом деле все обернется по-питерски буднично. И что долго (по тувинским меркам долго) не будет никакой такой оградки для плача, а прах года полтора (?) простоит в урне, в квартире, обжитой дрозософилами от его неустанных земледельческих усилий (песочных грядок с луком — "витамины") и зимних запасов капусты между теплыми рамами.

Мальчик, родившийся в несытом двадцать пятом и умерший в пятом году нового века, тоже не отличившемся гостеприимством. Он был земным и без иллюзий. Но только в том, что не касалось его работы. (...) При всей трезвости, прописанной временем, становился очаровательно глуп, беспомощен и раздражающе доверчив, когда речь заходила о Его Парке-Музее. Стремящийся сохранить память об уходящем времени, он сам оказался вымирающим видом. Не музейные, неколлекционные, списанные эпохой вещи, люди, какие-то пауки, жуки, языки, отношения. Он это все застал теплым, живым, дышащим, и можно только представить, каково оказалось в гробовщиках.

Среди слепых и глухих, которым не покажешь и не расскажешь. А им и не нужно»...

Но все-таки нужно... и многим нужно... Вот уже голос нового поколения. Совсем юных, кому посчастливилось познакомиться с четой Пионтеков в 2000-х.

Вот искренние, приметливые, полные душевного тепла и любви воспоминания Ольги Сорокиной, журналиста и колумниста.

«...Для нас, девочек-филологинь, эта встреча была на высшем уровне — уровне чуда. Мы попали в историческую квартиру: здесь жил адмирал Макаров, недалеко от Невского проспекта. Лепнина на потолках, окно в ванной, камин, необыкновенной красоты деревянный резной шкаф, набитый, правда, какими-то тазами и тряпками. Вход был на кухне.

Где-то рядом была еще квартира Надежды Крупской. Окна ее выходили в наш двор.

Быт совершенно не властвовал над нашими благодетелями. Архитектор бесконечно что-то варил в большой кастрюле — себе, слабеющей Гаяше, нам, прибывшимся. Стирал в тазу. Воевал с властями. Он возвышался. Он нес свою седую, гордо поднятую голову, и смотрел только вперед, только в будущее.

Не имело над ними власти и время. Их любовь была очевидна, она витала над пыльным историческим хламом, над богатейшей библиотекой, над греческими бюстами, над разваливавшейся мебелью. Он строил ей глазки, поправляя выпадающую челюсть. А она, кандидат наук, доцент, говорила ему томно: "Поддай мне с торта вон ту фиговинку".

Вдобавок ко всему, Георгий Владимирович провел для нас, уже совершенно ошалевших от такого совмещения реальности и истории, пешую экскурсию по центру Питера.

Мы лазили по чердакам, заходили в безымянные подъезды, и он говорил нам, показывая на дверь: "А вот здесь Достоевский начинал писать своих "Бедных людей", а вот здесь жил ваш "любименький" Бродский"...

(Дело в том, что у Георгия Владимировича была на поэта какая-то личная обида: что-то тот пообещал ему и не сделал, так что постоянно приходилось разрываться между этим своим частным чувством и всеобщим признанием Бродского, однако, из благородства, он не мог не упомянуть о поэте в ходе нашей прогулки).

Здания, улицы, памятники. Люди. История, секреты, легенды — он рассказывал самозабвенно, таскал нас за собой, а мы только ловили каждое слово. Он вышагивал по Невскому — высокий, взъерошенный, быстрый, а за ним бежали мы, две девочки, боясь пропустить взгляд, фразу, жест. Невероятная эрудиция. Глубина. Доброта. Бессребренность. Бескорыстие. Любовь к стране, к родному месту.

Вдохновение его усилилось в музее Достоевского, куда он нас в итоге привел. Пионтек принимал самое активное участие в его проектировке. Бескомпромиссный идеалист, максималист, он и здесь рассорился с дирекцией, по крайней мере, сотрудники напряглись, увидев его, а он, как ни в чем не бывало, прочитал нам двоим такую лекцию, что группы оборачивались и слушали, вместе с экскурсоводом...

*В ночь перед отъездом мы так и не уснули, потому что он не мог спать. Вытащил все свои чертежи, схемы, акварели (прекрасные!) и три часа рассказывал о своем детище — парке "Человек и Среда". Пионтек верил в него как ребенок: безусловно, безоговорочно. Крупный национальный парк-музей, посвященный истории и культуре народов России. Наверное, не будет этого уже никогда. Однако есть другое — парки, музеи, спроектированные и построенные им по всей стране и за ее пределами...*

*Они очень нуждались, но никогда не попросили бы у нас денег за проживание, так что пришлось, после долгих споров, купить конверт и придумать целую церемонию вручения, а также все возможные варианты уговоров, если откажутся принять.*

*Их уже нет. Только свет остался. Светлая память.*

*Они принимали всех, и не было в этом ничего особенного. Они делились и отдавали, и не было в этом ничего особенного. Они жили любовью — к своей стране, ее культуре, друг к другу, и не было в этом...*

*Ничего особенного — для них»...*

Н. Федоров, основоположник русского космизма, к идеям которого прислушивались и Л. Толстой, и К. Циолковский, был похоронен на кладбище Скорбященского монастыря. Могила его в 1929 году была снесена, место утрамбовано под игровую площадку.

Прочитаешь такое, и невольно рвется из души наболевшее: «Отечество родное, что ты так неласково, так сурово к нам, твоим детям, любящим тебя беззаветно до гробовой доски»...

Георгий Владимирович практически в одиночку осуществил титаническую работу по сбору и подготовке предметного и иллюстративного материала к своему проекту. Он, как истинный энтузиаст, увлеченный идеей, проводил многочисленные выставки, конференции, доклады, пытаясь достучаться как до общественности, так и до чиновничества, и до научных, ко всему авангардному с подозрительным скепсисом настроенных кругов. И как-то стало вроде бы складываться — к концу восьмидесятых. К тому же эпоха уже подтаивала со всех сторон, и восторги международного научного сообщества, к которым так всегда чувствительна наша родная общественность, на тот момент помогли.

Факт остается фактом: под парковую зону проекта было выделено аж три тысячи шестьсот га земли на правобережье Невы под Санкт-Петербургом. Проект был включен в Генплан развития Петербурга на период до 2005 года.

Но тут наступили новые времена, и получается, что прогресс мысли и идей уступил месту регрессу человека и среды. Никто теперь и не вспоминает об этом уникальном проекте, который мог преобразить и город,

и горожан. А мне даже странно представить, что современные «менеджеры», которые зачастую смотрят на Санкт-Петербург, как на объект для поживы, станут утруждать себя такими сложностями.

А мечта космистов об идеальном обществе так и остается пока более недостижимой, чем полет к планетам.

Федоров называл такую организацию психократией: «общество совершеннолетних людей, которые друг к другу любовно, сердечно относятся. И просветляют свои мысли, и не таят друг от друга ничего, и чужая душа перестает быть потемками». Речь об обществе, основанном на доверии, любви и творчестве — «пестование дара любви: принцип устройства социума и устройства мира».

И вот в одном из недавних выступлений русский философ А. Дугин говорит о том, что наше общество несколько раз буквально приближалось к тому, чтобы разорвать путы и преобразоваться на идеях справедливости и гармонии. Каждый раз вот прямо казалось: еще миг, еще одно крошечное усилие — и состоится... Но каждый раз не хватало какого-то всплеска общественной энергии, какой-то устойчивости, и мы обрушивались в кровавый мрак или, в менее травматическом случае, откатывались назад.

А ведь в спасенческом движении восьмидесятых и прорисовывались явно эти черты нового общества, основанного на идеях русского космизма.

И именно поэтому как магнитом нас тянуло быть в орбите Пионтека, Пирожкова, Лихачева... А их сочувственно тянуло к нам.

В 2008 году в нескольких номерах «Петербургского театрального журнала» был опубликован «Роман в письмах» Леонида Попова, по прозвищу Бомжир, одного из участников группы Спасение. Роман этот условный — опубликованы подлинные письма тогда еще студента-театроведа своим друзьям.

Я помню Леню Попова: коренастый, плотноватый, с артистической взъерошенностью в облике, с лицом, в котором красота сочеталась с некрасивостью удивительно гармонично. Рядом с ним было как-то особенно уютно, по-домашнему, и в то же время чувствовалась в нем внутренняя сила, сила души по-настоящему доброго человека и преданного товарища. Он рано ушел из жизни после стремительной и страшной болезни.

Но остались письма. Для меня это — письма-откровения искреннего, страстного, жадного до знаний и служения избранному делу Человека. В них — сопричастность товариществу, уже обозначавшемуся костяку группы Спасения, Алексею Ковалеву (Китайцу) и Сергею Васильеву, которые, странствуя и работая в археологических экспедициях, продолжали накапливать в себе этот концентрат русского космизма, общинность на

основе федоровского понимания коллективизма: «Жить со всеми и для всех».

Почему я написала «продолжали накапливать»? А потому, что сообщество это образовалось несколько раньше, оно формировалось в исторической части города, обрамлялось его улицами, колодцами и проходняками, парадными и чердаками, квартирами и кафешками, его сакральным пространством. У него своя топонимика, оно начиналось, безусловно, с улицы Толмачева, с квартиры Китайца, а рядом — кинотеатр «Аврора», центр киноманов и эстетствующей молодежи. А дальше — Моховая, Театральный и Учебный — ареал обитания Бомжира, там витийствовал дерзновенный Добровольский. Суворовский проспект — музей Суворова, где работали Алексей Ковалев и Сергей Васильев. В Петропавловке доскандаливал последние рабочие деньки перед окончательным изгнанием из штата сотрудников музея историк С. Б. Лебедев, позванивала передвигаемой кареткой пишущей машинки секретарь-машинистка Общества Охраны памятников в церкви всех скорбящих на Коляева Татьяна Лиханова. Это отсюда сверхсекретно она *молнировала* о готовящемся сносе Дома Дельвига. В Апраксином переулке работала «крошечная студия» Николая Беляка, тогда ему было сорок, и основной массе он казался едва ли не стариком. Но каким! В «Часе пик» на Невском готовила статьи Лиза Богословская.

Позже, когда движение приобрело массовость, именно эта маленькая община и задала тон, определила общее направление.

По мере разрастания присоединялись все новые фрагменты города, кварталы, районы, в которых открывались все новые квартиры. Например, квартира дома №19 на 16 линии Васильевского острова, возле Смоленского кладбища, рядом с Воскресенской церковью, где отпевали А. Блока. Квартира четы Мостовских, очень преданных спасенческому делу людей (Наташа работала медсестрой в педиатрии, Андрей, геофизик, плавал на Крузенштерне). Туда, я помню, ввалилась буйная ватага участников и зрителей после ошарашивающей постановки Николаем Беляком «Пира во время чумы» в Воскресенской церкви. А декорациями служили тогда внутренние конструкции — ибо церковь внутри была расчленена металлическими балками (в ней располагалась на тот момент то ли водонапорная станция, то ли какое-то другое подобное заведение), — и что-то было в фигуре Николая Беляка, балансирующего на металлической балке под церковным сводом, апокалиптическое, что-то фаустовское. Помню до сих пор, хоть и нет у меня ответа, насколько уместно такое действие внутри храма, даже и поверженного.

Еще одна знаковая квартира располагалась на Невском, прямо надо бывшей кондитерской «Вольфа и Беранже», прославившейся литератур-

ным бомондом XIX века, куда захаживал А. Пушкин с друзьями: теперь там «Литературное кафе» и Пушкин-манекен, в пыльном цилиндре и заляпанном стеарином, линялом, почему-то зеленом фраке, встречает многочисленных иностранных гостей. Дань эпохе симулякров перформанса и китча, который не щадит никого.

Квартира эта большая, просторная, адмиральская. И наша подруга, член группы Спасения, была старшей дочкой адмирала, подводника Алтухова. Татьяна Алтухова, царственная египетски-цыганская красавица из спасенческого актива.

Близость к Исаакиевской площади на какое-то время сделала алтуховскую квартиру форпостом англетеровского движения. Там всегда можно было прикорнуть на диванчике. Поесть шикарных алтуховских пирогов. Сидели подолгу, до ночи, а то и оставались на ночь. Мама Татьяны, вдова адмирала-подводника, демонстрировала поразительную выдержку, понимание и, кажется, даже и любовь к непокорному племени спасенцев. Одно ее тревожило, как и всякую, впрочем, маму в подобной ситуации: куда это нас всех заведет в конце концов. Поэтому шутки о «мешке сухарей» были вполне злободневны.

Во всех этих и многих других, не упомянутых мной квартирах, с утра до вечера и по ночам стрекотали машинки, сочинялись тексты воззваний, статьи в журнал «Эко-культура», разрабатывались сценарии театрализованных, шествий-демонстраций.

Эта бешеная молодая (не возрастом, а духовной наполненностью) энергия творчества, таланта, самоотверженного служения городу, искренняя открытость — трансформировались в общественные формы в виде театрализаций, митингов-капустников, празднеств-демонстраций, совместных культурологических путешествий, дружеского общепития в Комарово и Солнечном, на обоюдном доверии, общем деле и любви.

Китаец, Леша Ковалев, был безусловным двигателем группы, в определенном смысле — ее демиургом, он обладал характером и темпераментом лидера, красивой, почти киношной, но без слащавости, внешностью; яркий, страстный, но и жесткий полемист, стратег — который видел дальше остальных, когда понимал, а порой и интуитивно угадывал возможные скорые процессы в общественной и политической (для него это было уже очевидно, а для нас — совсем нет) жизни страны. Был уверен в себе, в правоте делаемого — эта уверенность очень помогала всем спасенцам и притягивала к группе все новых людей.

А Сергей Васильев — другой полюс: неразрывно кровно-духовно связанный с Китайцем, он всегда был и остается сакральной душой группы, Васькой, Васей. Все сомнения, печали, томления духа легли на его плечи, все неизрасходованные любви; негромкому же обаянию его личности были подвержены все, кто хоть мало-мальски был с ним знаком.



Еще был спасенческий женский отряд, без него, без этой фантастической плеяды чистых характеров, девичьей захватывающей дух красоты, душевного тепла невозможно было бы достичь симфонической гармонии группы.

Это и Светлана Мотовилова, филолог, ученица Лотмана, и Елена Соловарова, преподаватель математики в математической школе, а также тренер юношеской олимпийской сборной по альпинизму. Ленка Соловарова не лезла на трибуну с пышными фразами, на застольях пела громко и фальшиво, зато «с душой», но надежней человека, чем Соловарова, трудно отыскать, она была надежна, как хорошо вбитый в скалу альпинистский крюк. Катя Колесова, экспрессивная, яркая, увешанная фенечками, с выводком детей, настоящий боец на всех спасенческих фронтах. Лариса Савенко, Славка, Ира Васильева — художник, сестры Прохоровы, Катя и Тина, дочери филолога-пушкинодомца Гелиана Прохорова, настоящие красавицы, с них полотна писать... Лена Маркелова... всех невозможно втиснуть в рамки одной статьи, да и нет нужды.

Многоликость эта женская у меня вырисовалась в образ спасенческой Мадонны, в некий общий характер женский, так созвучный русскому космизму основными чертами — самоотвержением, служением бескорыстно людям до жертвенности, честностью, достоинством и бесконечной наполненностью любовью...

Позже к группе «спасения» стали примыкать и подвижники спасения памятников из разных регионов. Движение было стихийное молодое и не ограничилось Петербургом. Подросшая юность («совершеннолетние федоровские люди») хотела осознавать себя в вековой культурной традиции.

Так мы узнали о Рязани, о тамошних краеведах-подвижниках. Они прибыли как делегаты за поддержкой и сотрудничеством. Такие простые рязанские ребята, ясноглазые, румяные и златокудрые: Алешка и Ира. Фамилий сейчас не вспомню. Они были правильно воспитаны государством: на любви к Родине и сбережении ее традиций. А когда подросли и ясными своими глазами огляделись вокруг, то и ужаснулись состоянию своих краевых памятников культуры, и пришлось им защищать эти памятники, биться буквально в кровь.

Они пригласили меня в Рязань. И была экскурсия по рязанской земле. По заброшенным пажитям, прекрасным, но погибающим паркам, обезглавленным церквям, обметанным бурьяном остовам помещичьих усадеб. По монастырским подворьям, превращенным то в ремонтные мастерские, то в склады, то просто оставленным до окончательного саморазрушения: страшно, даже жутко было ходить по загаженному внутреннему кольцу монастырской стены конца XVI века. «Рязанская зем-

ля — кладбище русских храмов» — это противоестественная и горькая мысль долбила и долбила меня.

Такое определение в какой-то степени справедливо по отношению ко всей матушке-России.

«Откуда он взялся?» — «Кто это? Из наших?» — «Кто его привел? Ты?» — «Нет, не я». — «Чьих будете, товарищ? Вас кто сюда поставил... Сам встал... ну-ну... Ну, стой. Не жалко. Если не провокатор»... — «Не похож, — кто-то сказал, — он электрик. Из ЖЭК...».

Так прокомментировали момент появления на площади возле Англетера высокого, сухожильного, в синей дутой куртке, молчаливого, даже урюмоватого, как позже выяснилось, от стеснения, человека. Вот так, никому ничего не объясняя, ни с кем на первых порах особенно не задрожившись, занял свой бессменный пост возле руин Англетера этот электрик из ЖЭК с самодельной тряпичной ширмой.

«...Он каждый день приносил и разворачивал ее перед забором, наклеивая самодельные свежие материалы — цитаты из законов, коллективные письма, стихи, технические экспертизы. Он делал все это сам, тогда еще не зная никого из членов Группы Спасения. Он расставлял ширму и убежал на вызовы (электрик из жилконторы), а после работы приходил на площадь, превращавшуюся в Гайд-парк, и вечером уносил ширму домой. В условиях молчания прессы и отсутствия электронных СМИ эта ширма была самой оперативной и честной стенгазетой города...» (С. Васильев, из статьи «Памяти Николая Журавского»).

Николай Журавский, на тот момент подошедший к порогу тридцатилетия «совершеннолетний человек». Если бы Федоров искал фактического реального человека, олицетворителя своих идей, то вот он — Николай Журавский. Просто Коля. Или просто Журавский. В отличие от многих из нас, умных, начитанных, эрудированных и тоже совершеннолетних, Коля уже прошел такую крепкую школу подлинной жизни, столько уже было за его плечами — и служба в десантных частях, и деятельность альпинистского спасателя: шесть лет возглавлял контрольно-спасательную службу альпинистов.

Родом он из Чимкента, города в Казахстане, мой земляк, приехал в Ленинград поступил в «кулек», то есть институт культуры, водился с митьками и разной неформальной публикой, жадно впитывал в себя город...

«Был совершенным человеком Города, питерским бродягой, мастером на все руки, всегда немного смущенным, но совершенно точно знающим, что нужно делать» (С. Васильев. — С. 3).

До восьмидесяти третьего года Коля Журавский спасал терпящих бедствие в горах людей, с восьмидесяти седьмого и до самого последнего

вздоха — спасал исторический Петербург. Закономерно появился Коля, чтобы стать особой ступенью взрослости, цементом группы и одной из самых крепких фундаментальных ее опор. И что закономерно: буквально через короткое время лидеры группы «Спасения» воспринимались как триада: Ковалев-Журавский-Васильев.

Если из сегодняшнего дня окинуть взглядом Колину жизнь, то буквально мурашки забегают. Эта вся жизнь — короткая, стремительная, труженическая, с такой колоссальной самоотдачей сверх возможностей, которую невозможно осмыслить, не зная ничего о предшественнике-тезке Николае Островском, вышвырнутом из школьной программы.

Небольшая его квартирка от жилконторы в переулке Макаренко — полуподвальная, сырая, где хронически не хватало света, аскетичная в бытовом плане, но забитая найденными в городских блужданиях питерскими раритетами — «артефактами уходящего Петербурга» — стала одним из самых продолжительных и любимых спасенческих жилищ. Она была абсолютно спасенческая, и порой в нее набивалось до дури людей, но как-то все при этом размещалось с удобствами.

С. Васильев:

*«Там мы и собирались, готовили наши акции, распечатывали документы и прокламации, сочиняли стихотворные сатиры на руководство, засиживались до утра, засыпали вповалку — а Коля утром шел на утреннюю планерку. В 9 утра он оставлял сонным у подушки бутылку кефира с булочкой и шел на объекты. В этой комнатке мы набивались по тридцать человек на его Дни рождения, под Новый Год — под стук соседей в стену»...*

*«А еще были экспертизы — как приговоры домам — вот треснувший дом Достоевского на Владимирском, 11 — мы собирали письма протеста и звонили Коле: "Они там в подвале опять сорвали вентиль!" Только Журавский знал, что делать: он брал какую-то помпу, залезал в подвал, перекрывал и откачивал воду. А районные жилищники, приговорившие дом, опять сворачивали вентиль. И Журавский, чертыхаясь, снова лез с помпой, снова наворачивал».*

*А Ковалев в это время бушевал на уличных акциях, а Талалай в это время публиковал материалы в "Вестнике Совета по экологии культуры". Каждый делал свое дело, ну а Журавский выкладывался за троих. Продолжая ходить на работу и учиться в своем "кульке" (после "Англетера" его отчислили было с четвертого курса, но из-за смены партийного курса опять восстановили). Он успевал по полной отстоять в пикете, полазать с экспертами по обреченному дому где-нибудь в Рыбацком, подъехать на репетицию группоспасенческой постановки, смастерить театральную гильотину (темой постановки была Французская революция), чтобы потом — попеть песен под аккордеон и пойти провожать девушек».*

*«Это был абсолютно надежный, взрослый, сильный человек, преданный Питеру и дружбе».*

А потом был Сумгаит, один из тяжелейших, залитых кровью межэтнических конфликтов, в разрывающейся на части стране — и трусливое, даже позорное на тот момент, поведение Москвы... Связь с комитетом «Карабах», совместная двадцатидневная голодовка.

Какое-то время мне на хранение были переданы Колей ксерокопии свидетельств о смерти, свидетельства чудом выживших. Это была толстая пачка фотодокументов. Я прочла. Жить после этого стало очень трудно, почти невозможно. Я только увидела документы, а Коля был в этом деле целиком, весь, без остатка.

Здесь еще одно важное обстоятельство. Мы с ним земляки, родом из Южно-Казахстанского города Чимкента; более интернационального города в стране трудно было и найти. Там жили все: потомки первых русских переселенцев, чуть не со времен походов полковника Михаила Черняева; местные: казахи, узбеки, татары, евреи; ссыльные, осколки русского дворянства и купечества; кадеты и эсеры времен Гражданской, потом репрессированные от 37-го; трудармецы и за ними репатрианты... а еще переселенные народы: греки-немцы-чеченцы-корейцы-крымские татары — это все уже сполохи Отечественной... а в шестидесятых — еще и вьетнамцы из-под американских бомбардировок. Мы жили дружной многонациональной и многосоциальной семьей (конфессии на тот момент не учитывались). Это факт. И осознать случившееся в Сумгаите было особенно сложно.

И страшная трагедия: спитакское и ленинканское землетрясения. Собрав группу спасателей, Коля вылетел в Армению доставать людей из-под завалов...

Помню день похорон: на Смоленском кладбище было околевающе холодно. Речи, казалось, трещали в ледяном воздухе и рассыпались изморозью по траурным платкам и воротникам черных пальто. Эта скученная черная толпа людей возле распахнутой могилы, на фоне выпавшего накануне снега, выглядела особенно сурово. И скорбно. Было много армян, армянская диаспора пришла отдать долг памяти своему другу, спасителю.

Когда ехали обратно, я сидела рядом с одним из руководителей армянской диаспоры Санкт-Петербурга. Он, старик, сказал: «Такой большой Человек один раз рождается. Друг ушел, забрал с собой сердце армянского народа. А его сердце осталось нам». В седой щетине щеки сверкнуло — то ли растаявшим снегом, то ли слезой...

Коли Журавского не стало в конце декабря 2009 года.

В конце восьмидесятых он стал депутатом Ленсовета и возглавил жилищную комиссию, потом переезд в Москву — эта работа съедала живого настоящего Колю до отчаяния, от бессилия что-либо изменить, от осознания того, что во власть пробрались циничные манипуляторы и бесовские хищники, вооруженные всеми способами и средствами подавления.

После возвращения в Петербург работал в Комиссии по городскому хозяйству исполнительным директором института городского и регионального развития.

В этот период уже в нулевых мы как-то встретились, кажется, в Интерьерном театре Николая Беяка на какой-то спасенческой тусовке. Коля поразил меня серым цветом лица, общей вымученностью, был он в красивом, ладно сидящем синем костюме, ему поднесли бокал с вином, он как-то смущенно и виновато приложил свою большую руку к груди: «Не пью. Сердце». Так сказал извинительно, будто уж у кого-кого, но у него, Коли Журавского, нет права на больное сердце, на какие-то там нервы и их окончания.

Сергей Васильев:

*«Знаете, как страшно он работал? Даже не в том дело, что много, а — совершенно наплевав на себя. Постоянные боли и одышка (у него легкие были никакие, ребра несколько раз сломаны и кое-как сросшиеся), и все без врачей: некогда! Саша (старший сын) рассказывает, как уговаривал отца обследоваться, а тот ему: "Ты что, сейчас надо столько поправок писать! Знаешь сколько сейчас работы по скверам? Потом твои дети в них гулять будут!" Он доходил домой с работы (в ту же комнатушку в полуподвальчике на Макаренко, там ступенек-то нет!) и долго пытался отдышаться... Саша за ним ухаживал, еду варил, прибирал, рассказывал, что комната его вся прокурена, он приходит и с сигаретой садится опять к компьютеру. Саша говорит: какой-то мозг на колесах — с утра его отвозили на работу, вечером назад — вся жизнь... Практически не мог спать, через каждый час просыпался от нехватки воздуха, отдышитесь, заснет — и снова; мозг совершенно не получал отдыха; как он протянул столько»...*

Виктория Работнова, журналист издания «Фонтанка. Ру»:

*«...Впрочем, смешнее всего — с сегодняшней точки зрения — было то, что председатель жилищной комиссии Ленсовета жил в коммуналке, и пальцем не пошевелил, чтобы улучшить свои жилищные условия. По словам ответственного секретаря комиссии Валерия Глухова, Николай изначально заявил: никто из членов комиссии не должен пытаться получить жилье для себя»...*

Добавить к этому нечего.

Может быть, надо было подробнее написать о деятельности и достижениях группы Спасения. Но я ставила себе задачу рассказать о людях,

хотя бы некоторых. Обо всех рассказать невозможно, а хотелось бы — о каждом: о Грише Колосове, Леонтьеве, А. Басманове, об Алтынове и Березневой, Цинцадзе и Мише Медведеве...

Но нельзя хоть вкратце не упомянуть об еще одном подвижнике, о Сергее Владимировиче Белове, историке, достоевоведе — он водил бесплатные экскурсии по Петербургу Достоевского. О Мише Талалае, инженере-химике по профессии, страстном исследователе жизни и творчества Николая Львова, уникального культурного феномена города, архитектора, музыканта, поэта... Михаил Талалай издавал и машинописный «Вестник ЭКО».

Из публичных акций группы вспоминаются: костюмированные выступления в Петропавловской крепости, «хармсство» во дворе дома писателя на ул. Маяковской, музыкально-поэтическое действие в день рождения архитектора Н. Львова в Мурино, организованное и проведенное Михаилом Талалаем. День горожанина на Владимирской площади в 1988 году. Главным дирижером всех театрализованных «бесчинств» был Николай Беяк при живом участии его трупы...

В заключение:

*«...Мы не верим, будто человек так прост, чтобы имущественный интерес (т. н. "классовый") мог быть в его жизни определяющим»...*

*...Но вернемся к культурной традиции, что нам в ней? А вот что. Мы понимаем ее достаточно широко, вплоть до культуры бытового поведения и ведения хозяйства. Мы видим в традиционализме гарантию спасения от разрушительных конфликтов с природой или от вырождения общества. Мы видим в разрыве с традицией, в желании начать историю с себя смертный приговор, подписанный себе обществом, замкнувшимся в своей гордыне. (...) Желание победить природу и победить ход истории оборачивается и внутренней конфликтностью...*

*Давно сказано: не устоит царство, разделившееся в себе».*

*Архив Группы Спасения. В. Лурье, С. Васильев.*

Не о том ли говорили и писали Н. Ф. Федоров, В. Вернадский и А. Л. Чижевский, не об этом ли и отставленный обществом проект Г. В. Пионтека?

В музыке выразителем подобных идей был Скрябин, в живописи — Нестеров, в поэзии — Тютчев с его флагманским: «Умом Россию не понять»...

Ну, что ж, будем верить и верить, хотя бы и веровать в то, что оставят уже в покое зону Достоевского и музей-квартиру Ф. М. Достоевского нашим детям и внукам, оставят так, как есть... как наша история предначертала, без всего этого выброса секуляторного пепла. А то засыплет он нас с головой... как ново-помпейцев... и понять ничего так и не успеем.

А интерес у нас у всех — самый настоящий кровный, выживательный...